

★ БИТВА ★ ЗА МОСКВУ



—4—

СЕРГЕЙ СОРОКИН

Битва за Москву

Сергей Сорокин

Битва за Москву 1941 - 4

«Автор»

2026

Сорокин С.

Битва за Москву 1941 - 4 / С. Сорокин — «Автор»,
2026 — (Битва за Москву)

Он погиб на своей войне — и проснулся в чужом теле, в землянке осени 1941 года. Восемнадцатилетний Андрей Гринёв ничего не помнит, зато за его глазами живёт сорокавосемилетний солдат, привыкший выживать там, где другие видят только хаос. Впереди — Вязьма, окружение, немецкие танки и рота, у которой одна винтовка на троих, пустой фланг и несколько часов до катастрофы. Здесь нет рации, приказов из будущего и права на ошибку. Есть только земля, страх, смекалка и люди, которых можно успеть спасти. Как сохранить жизнь товарищам по окопу и подарить надежду?

Содержание

Глава 1. Двое суток лесом	5
Глава 2. Восемь на пять не делится	12
Глава 3. Двадцать три	20
Глава 4. Чертёж на обороте	27
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Битва за Москву 1941 - 4

Глава 1. Двое суток лесом



Бортников вернулся из санчасти накануне: хромал, берёт левую ногу и злился, когда ему предлагали сесть. К утру его снова поставили на участок — людей не хватало, а голова у него уже не кружилась.

— Гринёв, а где Пантелеев? — спросил Дьячков, и голос у него был такой, будто он уже сам знал ответ и хотел, чтобы я его опроверг.

Я не опроверг. Пантелеев со своим участком должен был держать опушку левее нас, и оттуда с обеда доносилась стрельба, а потом стрельба ушла назад, за наши спины, и это было хуже всего, что могло случиться за один день. Я лежал за выворотнем, вжавшись щекой в холодный мох, и слушал, как звук постепенно смещается, обходит нас по дуге, будто кто-то методично закрывает дверь в комнату, где мы сидим.

— Слушай, — сказал я Хвостову, который лежал рядом со мной за выворотнем и смотрел вперёд, туда, где немцы не показывались уже час. — Слушай, откуда бьют.

Он послушал, приподняв голову ровно настолько, чтобы ухо оказалось над бруствером мха, и замер, будто прислушивался не звуком, а всем телом. У Хвостова было чутьё плотника — на звук, на дерево, на то, где что стоит, даже если не видно.

— Сзади бьют, — сказал он. — И справа сзади. И вон там, — он показал подбородком в сторону, где утром был наш тыл, где стояла кухня и где должен был находиться полковой медпункт.

— Ты уверен, что сзади, а не просто эхо от леса? — спросил я, хотя сам уже слышал то же самое, просто хотел, чтобы кто-то ещё сказал это вслух и подтвердил.

— Эхо так не бьёт очередями, — сказал Хвостов коротко, и в этой короткой фразе было столько уверенности, что спорить дальше не было смысла.

Прохор подполз ко мне, оцарапал щеку о сук, не заметил, только тронул позже пальцем и удивился, увидев на нём кровь.

— Андрей, немцы сзади, что ли?

— Похоже, — я провёл пальцем по мокрому краю карты, стараясь, чтобы голос вышел ровным, хотя внутри всё уже посчиталось быстро и мерзко: фланги прошли, роту разорвали, и мы, десять человек, сидим в лесном клину, а вход в этот клин, наверно, уже закрыт.

— А что мы теперь, — спросил он тише, — окружены?

— Похоже, что да, Прохор. Не ори только, шёпотом.

— Я и не ору, — прошептал он, но голос у него всё равно дрогнул на последнем слове.

Бортников лежал шагах в пятнадцати, в ложбине, и над ним стоял на коленях Ковригин. Пуля прошла Бортникову через плечо навывлет, кость не задета, но кровило сильно, и фельдшер бинтовал молча, деловито, без единого слова утешения, отчего было ещё страшнее смотреть, — руки у него двигались быстро, привычно, а Бортников только сжимал зубы и молчал, не давая себе застонать.

— Фрол Игнатьич, — позвал я, подползая, чувствуя, как влажная хвоя царапает локти сквозь шинель, — немцы, похоже, зашли с флангов. Тыл наш под ними.

Бортников поднял на меня глаза. Лицо у него было серое, но не от испуга — от боли и от того усилия, с которым он держал себя в сознании ровно и по делу.

— Насколько зашли — знаешь?

— Не знаю. Судя по стрельбе — далеко. Может, на километр, может, дальше.

Он помолчал, сжал зубы, пока Ковригин затягивал узел, и на лбу у него выступила испарина, хотя мороз уже прихватывал землю.

— Значит, отрезаны, — сказал он тихо, без всякого выражения, как говорил всегда, и от этой тишины было холоднее, чем от крика.

— Фрол Игнатьич, а вы дойдёте? — спросил Ковригин, впервые за всё это время нарушив свою обычную сухую деловитость чем-то похожим на настоящий вопрос.

— Дойду, — сказал Бортников. — Не о том сейчас думать надо.

Опарин, лежавший неподалёку, выругался длинно и грязно, потом замолчал сам, устыдившись при фельдшере, и стал зачем-то отряхивать колени, хотя грязи на них было не больше и не меньше, чем на всех остальных.

— Это что теперь, до своих пешком идти? — спросил он, оглядывая остальных. — В мои-то годы по лесу шастать.

— В твои годы или в чужие, других вариантов сейчас нет, Опарин, — сказал я.

— Умный больно стал, — буркнул он, но без злости, скорее устало.

Гнутов сидел, обхватив колени, и улыбался — не потому что было смешно, а потому что не знал, куда девать лицо.

— А может, это наши где-то рядом ещё дерутся, может, прорвутся к нам? — сказал он с надеждой, вслушиваясь в дальний бой.

— Может, — сказал Дьячков, не оборачиваясь. — А может, и нет. Гадать без толку, Гнутов.

Ковалёв протирает затвор ДП тряпицей, не поднимая глаз, будто дело было привычное, хотя видно было, как у него дрожат пальцы, и он раз за разом протирает одно и то же место. Дьячков сказал что-то насмешливое про немцев, которые, дескать, решили нас обойти, чтоб самим не мёрзнуть в лесу, но никто не засмеялся, и он замолчал тоже, махнув рукой на себя.

— Фрол Игнатьич, вам с раной ходить нельзя, вы кровью изойдёте, если сейчас же не встанем и не пойдём, — сказал я. — Пока не стемнело, надо в глубину леса, подальше от дороги, а с темнотой — искать проход.

Бортников посмотрел на меня долго. Он был старший по званию и по возрасту, и мне было восемнадцать лет, и он это знал лучше меня самого.

— А если проход не найдём? — спросил он, и это был не вызов, а настоящий вопрос человека, который хочет знать, на что соглашается.

— Тогда будем идти, пока не найдём, или пока не кончимся, — сказал я честно. — Другого ответа у меня нет, Фрол Игнатьич.

— Веди, — сказал он наконец. — Я скажу, если не по уму. Пока — веди.

Это были два слова, которые решали всё на ближайшие двое суток, и я понимал, чего они ему стоили.

Мы посчитались: десять человек, из них двое раненых — Бортников и молодой боец из соседнего взвода, Никита Стремянкин, однофамилец того Стремянкина, чьи письма мы недавно отправляли назад. Этому осколком порвало голень; идти он мог, но медленно и с чужого плеча. Патронов на брата — по обойме-полторы, у Ковалёва к ДП два диска неполных, гранат — три штуки РГД на всех. Сухарей — у кого сколько было в вещмешке, у Прохора нашлась банка тушёнки. Поделили сразу же, по-хозяйски, не дожидаясь голода: каждому наскребли на кусок консервной жести по слою тушёнки толщиной в два пальца. Гнутов слизнул со своего пальца остатки жира так старательно, что Опарин фыркнул и сказал что-то про поросёнка.

— Ты бы жестянку ещё облизал изнутри, чего добро тратить, — сказал Опарин.

— А что, и оближу, — сказал Гнутов и правда поднёс банку ко рту, и от этого нелепого, детского жеста стало на секунду легче всем, кто это видел, будто в лесу, полном чужих голосов, ещё оставалось место для глупой шутки.

Часа через два стемнеет, темноты будет часов десять-одиннадцать, значит, за ночь надо было пройти как можно дальше от того места, где немцы прошли по флангам, и лечь на день там, где нас не найдут.

Шли медленно. Хвостов впереди, потому что у него слух был лучше моего и шаг тише, я за ним, следом Ковригин с Бортниковым — фельдшер держал его под локоть с недоступной стороны раны, — потом Прохор и Гнутов вели Стремянкина, замыкали Опарин с Дьячковым и Ковалёв с пулемётом.

К полуночи прошли, по моему счёту, километров шесть — немного, но шли не по прямой, а огибая каждую поляну, каждую дорогу, останавливаясь на каждый чужой звук. Дважды ложились в мокрую хвою и холодную траву, вслушиваясь: один раз мимо, недалеко, проехала колонна грузовиков, светя фарами сквозь стволы, и мы лежали, не дыша, пока звук не стих, а сырость пробирала сквозь шинель так, что зубы сами начинали стучать, и приходилось стискивать челюсти, чтобы не выдать себя звуком.

— Тихо, Прохор, — прошептал я, положив руку ему на плечо, потому что услышал, как у него зубы вот-вот застучат громче нужного.

— Не могу, холодно, — прошептал он в ответ, стиснув челюсти так, что слова вышли сквозь зубы.

— Терпи, — прошептал я. — Фары прошли, значит, скоро тихо будет.

Второй раз услышали немецкую речь совсем близко — не больше полусотни шагов, — двое переговаривались негромко, наверно, охранение, и мы полтора часа огибали это место крюком в версту, потому что напрямую было нельзя.

Стремянкин держался первую ночь стойко, стиснув зубы, а к рассвету стал оступаться, застонал один раз в голос, и Ковригин тут же прижал ему рот ладонью, не грубо, но крепко, и держал, пока стон не иссяк, глядя куда-то в сторону, будто это не он, а кто-то другой сейчас зажимает раненому рот.

— Терпи, — сказал фельдшер после, тем же ровным голосом, каким говорил всё. — Терпеть — не помирать, чуть полегче.

— Больно очень, Ковригин, — прошептал Стремянкин, и в его голосе было столько усталости, что казалось, он вот-вот сдастся прямо здесь, на снегу.

— Знаю, что больно, — сказал Ковригин. — Оттого и терплю с тобой рядом, а не отхожу.

Днём отлежались в еловом молодняке, густом, как щётка, выставив по очереди двоих в дозор. Я спал урывками, час-полтора, и каждый раз просыпался с мыслью, что проспал что-то важное, и первым делом ощупывал винтовку рядом с собой, только потом открывал глаза до конца. Бортников не спал вовсе — лежал, глядя вверх, берёг руку, и один раз, когда я проверял дозорных, тихо меня окликнул.

— Гринёв. Ты откуда счёт такой держишь — сколько патронов, сколько часов? В восемнадцать лет так не считают.

Я сказал то, что говорил всегда:

— Дед в германскую был. Кое-чему научил, пока живой был.

— А больше он тебя чему научил? — спросил Бортников, глядя на меня всё так же, не мигая, и в этом вопросе была уже не праздная любознательность, а что-то настойчивое, требовательное.

— Разному, — сказал я, выговаривая слова без пауз. — Как костёр без дыма развести, как след читать. Мелочи всякие.

Он посмотрел на меня ещё, ничего не ответил, но я видел — не поверил до конца, просто отложил это на потом, как откладывал многое, и его взгляд, задержавшийся на моём лице чуть дольше, чем нужно, ещё долго потом стоял у меня перед глазами.

К вечеру второго дня патроны у большинства кончались — по три-четыре штуки на винтовку, у Ковалёва в дисках оставалось на минуту стрельбы. Сухари вышли ещё раньше. Стремянкин шёл на одном упрямстве, повиснув на Прохоре и Гнутове, и оба они менялись через каждую сотню шагов, чтобы не выдохнуться разом, и каждый раз при передаче Стремянкин тихо охал, а тот, кто принимал его на плечо, шептал что-то ободряющее, хотя сам едва держался на ногах.

— Держись, Никита, немного уже, — говорил Прохор каждый раз, принимая его на плечо, хотя сам не знал, сколько там ещё «немного».

— Ты говоришь так, будто знаешь, сколько осталось, — прошептал Стремянкин один раз, с той слабой, измученной усмешкой, которая бывает только у человека на самом краю сил.

— Не знаю, — признался Прохор. — Но говорить-то надо что-то, вот и говорю.

Часам к десяти вечера Хвостов, шедший впереди, поднял руку и замер. Я подполз к нему, стараясь не хрустнуть веткой. Впереди, за редким подлеском, стояли повозки — немецкий обоз, судя по силуэтам, три или четыре телеги, лошади, и у костерка, прикрытого плащ-палаткой, грелись, видно, человек пять или шесть. Пахло дымом и почему-то кофейной гущей, и от этого запаха у меня свело живот — я не ел толком двое суток.

— Обоз, — прошептал Хвостов одними губами, показывая пальцем.

— Вижу, — прошептал я в ответ. — Считай, сколько человек у костра.

— Пятеро вроде, может, шестеро, темно, — прошептал он через несколько секунд.

Я лежал и считал. У нас патронов было мало, но обоз — это лошади, это, может быть, еда, и это, главное, дорога, потому что обоз стоял там, где должна была проходить дорога, а дорога вела в наш тыл, к своим, если знать, куда по ней сворачивать. Обойти обоз бесшумно было нельзя — местность справа топкая, слева открытая поляна, идти надо было через них или вовсе не идти.

— Тихо снимаем часовых, — сказал я шёпотом Хвостову и подползшему следом Опарину. — Ножом, не стрелять, пока не возьмём телеги. Если поднимут тревогу — тогда бьём разом и уходим с лошадьми и что успеем.

— А раненые? — спросил Опарин.

— Раненые лежат здесь с Ковригиным и Прохором. Мы вчетвером — я, Хвостов, Дьячков, Ковалёв — идём.

— А если не вернёмся? — спросил Опарин тихо, глядя не на меня, а куда-то в темноту между деревьями.

— Тогда Ковригин поведёт остальных сам, как сможет, — сказал я. — Но мы вернёмся, Опарин. Считать не разучились ещё.

Ковалёв придвинул ДП к себе, погладил цевьё, будто прощаясь с тишиной, и на лице у него в этот момент не было ничего, кроме сосредоточенности.

Мы разошлись по двое. Хвостов снял часового у ближней телеги так, что тот не успел даже вздохнуть громко — просто осел, и Хвостов уложил его на землю аккуратно, как бревно кладут, чтобы не стукнуло. У второй телеги вышло хуже: немец, увидев тень, дёрнулся и открыл было рот, и Дьячков ударил его прикладом в висок, коротко, без замаха, и удар получился слишком слабым — тот захрипел, забился, и пришлось добивать ножом, а хрип слышали у костра.

Дальше стало громко и быстро. Один немец вскочил с карабином, я стрелял в него в упор, с шести шагов, и он упал не сразу, сделал шаг назад и сел. Второй бросился к повозке, где, наверно, лежало оружие покрепче, и Ковалёв срезал его короткой очередью, экономя патроны до последнего. Третий закричал — по-настоящему, во весь голос, зовя на помощь, и этот крик разнёсся по лесу далеко, и я понял, что теперь у нас минуты, а не часы.

Хвостов заткнул кричащему рот собственной ладонью и прижал к земле, и когда тот затих, поднялся, вытирая руку о шинель, и лицо у него было пустое, как у человека, который делает работу и не даёт себе о ней думать.

— Грузи что есть, живо! — крикнул я. — Дьячков, лошадей отвязывай!

— Понял! — отозвался Дьячков, уже дёргая узду.

Мы взяли всё, что успели: два карабина, подсумки с патронами, ручные гранаты немецкого образца, флягу шнапса, которую я тут же вылил, чтобы не было соблазна, мешок галет и, главное, двух лошадей, которых Дьячков успел отвязать и увести в кусты, прежде чем оставшиеся немцы, а их оказалось ещё трое, открыли по нам огонь из-за телег.

— Уходим! — крикнул я, и мы ушли, отстреливаясь короткими очередями в темноту, туда, откуда прилетали вспышки, и бежали, петляя, пока не выдохлись, и лёгкие у меня горели так, будто я вдыхал не воздух, а мелкий колючий песок.

Стремянкина посадили на одну из лошадей, привязав ремнём, чтобы не упал в забытии. Вторую лошадь нагрузили трофейным добром и повели в поводу.

Шли остаток ночи почти без остановок, потому что за спиной, судя по редким выстрелам и ракетам, поднялась тревога, и нас, возможно, искали. К рассвету наткнулись на ручей, перешли его вброд, чтобы сбить след, и здесь, на другом берегу, Стремянkin застонал так, что не помогла уже никакая ладонь, и Ковригин, ощутив его в темноте, сказал коротко:

— Кровит внутри. Началось ночью, наверно, ещё когда с лошади трясло.

— Сделай что-нибудь, Ковригин, — сказал Прохор, стоя рядом на коленях, хватая фельдшера за рукав. — Ты же можешь, ты всегда можешь.

— Не всегда, — сказал Ковригин, не поднимая головы от раненого. — Отпусти рукав, мешаешь.

Мы остановились. Фельдшер делал, что мог — зажимал, перевязывал заново, — но руки у него, обычно спокойные и точные, на этот раз чуть дрожали, и это было заметнее всего остальных, и Ковригин, поймав себя на этой дрожи, на секунду сжал кулак, будто пытался её унять усилием воли.

Никита Стремянkin умер перед самым рассветом, тихо, не приходя в память последние полчаса, и никто из нас ничего не сказал, потому что сказать было нечего. Прохор, который тащил его на себе половину пути, сидел рядом и смотрел в землю, и я не подошёл к нему сразу, дал побыть одному. Мы вырыли неглубокую могилу сапёрными лопатами в прихваченной ночным холодом земле, положили его без гимнастёрки — гимнастёрку взял себе на память Гнутов, тот, кто дольше всех нёс его на плече, — и Бортников, перевозмогая руку, снял пилотку

и постоял так минуту, и мы все постояли следом за ним, и я слышал, как у кого-то за спиной сдавленно вздохнули, но не обернулся, чтобы не смущать.

Дальше шли молча, и молчание это было тяжелее, чем ночной страх.

К исходу вторых суток, когда уже начало светать, впереди между стволами показалась просека и за ней — окопы, наши, я узнал их по брустверу и по колючей проволоке, натянутой по нашему образцу, а не по немецкому, и что-то в груди у меня будто отпустило, хотя опасность была ещё далеко не позади.

— Свои, — выдохнул Прохор радостно и шагнул вперёд.

— Стой! — рывкнул я и дёрнул его за рукав. — Мы с немецкими карабинами, на лошади трофейной. Ночь. Нас пристрелят раньше, чем разберутся.

— Так свои же, Андрей, — сказал он растерянно, не понимая, почему я его удерживаю.

— Свои и стреляют первыми в темноте, Прохор, я бы на их месте стрелял, — сказал я. — Сложи оружие, подними руки, я пойду первым.

Я велел всем сложить трофейное оружие на землю и поднять руки, а сам вышел вперёд один, крикнув в сторону окопов по-русски, громко, называя пароль, который знал ещё позавчера, хотя он мог уже смениться:

— Свои! Отделение сержанта Бортникова! Раненые есть, оружие сложили!

В ответ послышался лязг затвора и голос, резкий, испуганный:

— Стой, кто такие! Ещё шаг — стреляю!

— Гринёв я, красноармеец, — крикнул я, стоя на месте с поднятыми руками, чувствуя, как холодный пот, несмотря на мороз, ползёт по спине. — Отрезаны были, двое суток шли. С нами сержант Бортников раненый.

Из окопа выглянул кто-то с винтовкой наперевес, всмотрелся, и я услышал, как он крикнул назад, в глубину:

— Командира сюда, тут вроде наши, только оборванные все и с трофеями!

Нас продержали под прицелом ещё минут десять, пока не подошёл младший лейтенант, не старый совсем, и не узнал в Бортникове знакомого сержанта с соседнего участка.

— Бортников, ты, что ли? — спросил он, вглядываясь. — Живой, а мы уж думали, весь ваш участок положили.

— Не весь, — сказал Бортников тихо, но твёрдо. — Опустите винтовки, свои мы, намёрзлись только.

Только тогда опустили винтовки, и я почувствовал, как у меня разжимаются пальцы, которые всё это время были стиснуты в кулаки.

Нас было девять — из десяти ушедших в лес. Бортников на ногах, бледный, с рукой на перевязи, но живой. Ковригин, Прохор, Хвостов, Опарин, Ковалёв, Дьячков, Гнутов — все восемь рядом со мной. Стремянкина не было, и это знали все девять, и это отделяло нас от тех, кто просто стоял в окопах и смотрел, как больше, чем немецкое трофейное оружие в наших руках.

Смотрели на нас долго и странно — не как на своих, вернувшихся с задания, а как на людей, вышедших оттуда, откуда обычно не выходят. Кто-то протянул Прохору флягу с водой, кто-то отвёл взгляд, столкнувшись глазами с Ковригиным, у которого очки в этот момент особенно нелепо держались на нитке, а сухое лицо было спокойно, как будто ничего не случилось.

— Откуда вы вообще, ребята, — спросил кто-то из молодых бойцов, разглядывая трофейных лошадей.

— Оттуда, — сказал Опарин коротко, не желая рассказывать, и отвернулся, и вопрос больше никто не повторял.

Младший лейтенант доложил по цепочке о нашем выходе, и через час пришёл приказ отвести нас в тыл на сутки — отдых, оружие получить новое, доложиться при полковом штабе.

Бортников, укладываясь на подводу, которая должна была везти его в медсанбат, посмотрел на меня снизу вверх и сказал негромко, чтобы слышал только я:

— Ты вёл правильно. Я скажу, кому надо.

— Не за похвалой шёл, Фрол Игнатьич, — сказал я.

— Знаю, что не за похвалой, — сказал он. — Оттого и скажу.

Больше он ничего не добавил, а мне больше ничего и не требовалось.

Глава 2. Восемь на пять не делится



— Ты мне брось, Опарин, ты мне брось эту арифметику, — Дьячков держал в руке кусок сахара и смотрел на него так, будто тот был виноват. — Восемь на пять не делится, а вас пятеро сидит и глядит на меня, как собаки на кость.

— Так ты не дели на пять, дели на шесть, — сказал Опарин, не поднимая головы от портянки, которую перематывал у костра, наматывая её тугими, ровными витками, будто дело было куда важнее всего происходящего вокруг. — Бортников придёт, тоже человек.

— Бортников придёт — своё получит отдельно, он старший, — отрезал Дьячков. — Ты мне зубы не заговаривай, ты мне скажи, кто тебя надоумил колоть сахар топором. У меня теперь не восемь кусков, у меня пятнадцать осколков и сахарная пыль на весь вещмешок.

— А чем колоть было? Зубами? — Опарин наконец поднял голову, и в глазах у него была та особая злость, с которой он спорил всегда, — не настоящая, привычная, как разминка, и он даже отложил портянку, чтобы поспорить с полной отдачей. — Ты мне дай штык, я тебе им ровно нарежу, будешь как в кондитерской.

Я сидел рядом на снаряжном ящике и мотал на палец обрывок телефонного провода — от скуки, не по делу, — и слушал это уже минут десять, наблюдая, как провод оставляет на коже красную полосу. Посылка пришла из тыла на весь взвод, вложили в неё сахар, кусок сала, две пары шерстяных носков и письмо без адреса, «бойцам от колхоза», и теперь сахар этот делили с таким тщанием, будто от него зависела судьба Москвы.

— Дай сюда, — я протянул руку.

Дьячков посмотрел на меня с подозрением, будто я собирался съесть весь сахар разом, но кусок отдал. Я разложил осколки на разостланной газете, на глаз прикинул кучки — по виду, не по весу, — и раздвинул их в пять примерно равных горок, двигая пальцем каждый осколок так, чтобы кучки казались одинаковыми хотя бы на взгляд.

— Готово. Бери любую.

— А почему пять, если нас шестеро с Бортниковым? — тут же спросил Опарин.

— Потому что я разделил на тех, кто сидит здесь и орёт, — сказал я. — Бортникову отсыплет потом от каждой кучки по щепотке, будет как налог.

Гнутов заржал первым, громко, запрокинув голову так, что стукнулся затылком о накат, — он всегда смеялся раньше, чем понимал, над чем, — и от этого смеха закашлялся Хвостов, который курил самокрутку из обрывка «Правды» и до того молчал, привалившись спиной к стенке окопа.

— Налог, — повторил Хвостов, выдохнув дым, и больше ничего не сказал, но это одно слово прозвучало так, будто он подвёл черту под всем разговором, и Опарин действительно замолчал, взял свою кучку и стал заворачивать её в тряпицу, аккуратно, узелок за узелком, как заворачивают что-то ценное.

Я вернулся к своему проводу, довольный собой, — и тут в блиндаж, пригнувшись, влез старшина Гуляев с вещмешком на плече, тяжёлым, набитым чем-то угловатым, и с лицом человека, который несёт добрую весть.

— Ну, орлы, принимай, — сказал он, ставя мешок на землю с грохотом, отчего с наката посыпалась земляная крошка. — Валенки.

В блиндаже стало тихо ровно на секунду.

— Сколько пар? — спросил Опарин с интонацией следователя, уже привставая с места.

— Двенадцать.

— На весь взвод?

— На весь взвод. — Гуляев уже развязывал горловину мешка, гордый собой, как будто лично прошёл пешком до склада и обратно, дёргая узел зубами, потому что руки были заняты. — Со склада дивизии, задарма привезли, я и взял, что дают, дурак бы не взял.

Он вытряхнул валенки на землю — они шлёпнулись гуртом, серые, сваленные, пахнувшие овчиной и складским сукном, — и Опарин присел на корточки, взял пару, взглянул, взял вторую, поворачивая обе в руках, будто изучал их на просвет.

— Гуляев, — сказал он медленно, — тут же все на один размер.

— Ну и что.

— Сорок третий тут написан, гляди. — Опарин ткнул пальцем в подошву, ткнул с такой силой, что чуть не проткнул валенок насквозь. — Все двенадцать пар сорок третьего.

— А у меня какой сорок третий?! — донёсся из угла возглас Гнутова, который тут же выхватил себе пару и стал натягивать поверх сапога, для примерки, хотя валенок был ему велик так, что нога утопала в нём по колено. Он прошёлся два шага, шлёпая, как в клоунских ботах, и захохотал сам над собой, чуть не упав, потому что вторая нога у него так и осталась обутой в сапог, и он ковылял, как хромой журавль.

— У меня тридцать девятый, — сказал Прохор тихо, глядя на свою маленькую, почти детскую ногу, и покраснел, будто размер ноги был чем-то постыдным.

— У меня сорок пятый, — сказал Хвостов, не оборачиваясь, только выставив ногу в сапоге для наглядности.

— Ну так намотай портянок больше, — предложил Гуляев без всякого смущения. — Или наоборот, у кого нога большая — ходи так, до морозов дотерпишь.

— Гуляев, ты нам зимнюю обувь привёз, а не подарок с ярмарки, — сказал Дьячков, вертя валенок в руках так и этак, заглядывая внутрь, будто надеялся найти там что-то другое. — Тут не дотерпеть надо, тут воевать в этом.

— А ты претензии предъявляй не мне, а интенданту дивизии, — старшина уже пятился к выходу, придерживая рукой полог. — Я что взял, то и привёз. Мыло вон ещё есть, могу занести.

— Баня-то будет? — спросил кто-то из темноты.

— Баня будет, когда фрицев отгоним, — сказал Гуляев уже из-за полога и исчез, оставив нас с двенадцатью одинаковыми валенками, из которых годились от силы двум-трём человекам.

Опарин смотрел на кучу, качая головой, как на неисправимое зло мироздания, потирая переносицу двумя пальцами, и я не удержался.

— Слушай, — сказал я ему, — а если ты и Гнутов сложите ноги пополам, у вас как раз выйдет средний размер.

Опарин смерил меня взглядом, каким смотрят на человека, сказавшего глупость при всех, и покачал головой так медленно, будто взвешивал, стоит ли отвечать.

— Гринёв, ты вот всё шутишь, шутишь, а сам ведь ещё вшей толком не бил, я гляжу.

Опарин договорил и тут же полез за пазуху шинели. Пока я соображал, к чему он клонит, он уже достал что-то щепотью и бросил в костёр — там треснуло, коротко и деловито, как крохотный выстрел.

— Вот так их бить надо, — сказал Опарин с явным удовольствием учителя, потирая руки, будто только что продемонстрировал фокус. — А ты небось всё по старинке, ногтем давишь, да?

Я не ответил, потому что действительно давил ногтем, и не видел в этом ничего постыдного, но лица вокруг говорили, что я упускаю какую-то важную науку, и Гнутов уже смотрел на меня с искренним сочувствием, будто узнал о моей неизлечимой болезни.

— Ногтем — это баловство, — вступил Дьячков. — Ты шов рубахи прогрей над огнём, они сами наружу лезут, дыры, тепло любят. А потом раз — и в костёр щелчком, вот тебе и концерт.

— У Ковалёва вообще метод, — сказал Гнутов, уже без валенка, снова в своих сапогах, но всё ещё улыбаясь и потирая ушибленную об накат макушку. — Он рубаху на морозе держит с вечера до утра, говорит, все дохнут.

— Ковалёв говорит, что дохнут, а сам чешется как савраска, — вставил Хвостов, и это опять была одна фраза, но она сразу всех развеселила больше, чем весь предыдущий разговор про метод, и даже Опарин фыркнул, отворачиваясь, чтобы скрыть улыбку.

Я послушал этот разговор с ощущением человека, который в своей прежней жизни знал наизусть характеристики трёх видов автоматического оружия и умел на слух определить калибр миномёта, а тут не мог правильно провести простейшую войну с насекомыми и получил за это заслуженную насмешку от девятнадцатилетнего Гнутова. Что-то в этом было по-настоящему смешное, и я сам засмеялся первым, коротко и сухо, — не над собой особенно, а над тем, до чего нелепо устроена жизнь, если в ней надо отдельно учиться убивать вшей щелчком, как будто это воинское искусство.

— Ладно, — сказал я. — Будем считать, что вошь — тоже противник, а противника надо изучать, прежде чем бить.

— Во, дошло наконец, — удовлетворённо сказал Опарин и снова взялся за портянку, домотал её последним витком с видом человека, завершившего важное дело.

Прохор всё это время сидел с краю, привалившись к сложенным вещмешкам, и что-то писал огрызком карандаша на листе, вырванном из тетради, — писал медленно, слюнявя грифель, зачёркивая, снова начиная, и морщил при этом лоб так, будто решал арифметическую задачу.

— Ты кому? — спросил я.

— Матери, — сказал он, не поднимая глаз. — Только не знаю, что писать. Она если узнает, что мы тут в окопах третий месяц, а харчи не всегда, — она с ума сойдёт, у неё сердце слабое.

— А ты напиши, что стоите в резерве, — посоветовал Дьячков, — кормят хорошо, спите в тепле, командир ласковый.

— Так она у меня грамотная, не поверит, что командир ласковый бывает, — серьёзно ответил Прохор, и все опять засмеялись, но по-доброму, без злости, — и Опарин отложил портянку и придвинулся ближе, подсел так, что колено его коснулось колена Прохора.

— Дай сюда, — сказал он, — я тебе продиктую, у меня рука твёрже.

И следующие минут пятнадцать вся ячейка сочиняла Прохору письмо матери — коллективно, с перебранкой из-за каждого слова: Дьячков предлагал написать про трофейный шоколад, которого никто не видел, Гнутов настаивал вписать, что его, Прохора, представили к медали, хотя представляли пока только к нарядам на кухню, и при этом сам хохотал над собственной выдумкой так, что чуть не выронил самокрутку, а Хвостов долго молчал и потом сказал одну фразу — «напиши, что живой», — и на этом спор о содержании письма как-то сам собой закончился, потому что действительно, а что ещё матери нужно знать в первую очередь.

Прохор старательно переписывал набело под общую диктовку, высунув от усердия кончик языка, а я смотрел, как в свете коптилки шевелятся тени на бревенчатой стене, и думал о том, что в моей прежней жизни письма писали иначе — короче и суше, — и что здесь, оказывается, есть целая наука лгать родным во спасение, не хуже науки бить вшей.

Договорить мы не успели. Со стороны немецких позиций долетел глухой, отдалённый удар — не по нам, дальше, за лесом, — земля от него не вздрогнула, только звук прошёл по воздуху волной и стих, а следом ещё один, и ещё, короче и глуше, будто кто-то бил в огромный барабан за много вёрст. Разговор оборвался сам собой. Гнутов перестал улыбаться, и рука у него, тянувшаяся было за очередной самокруткой, замерла на полпути. Прохор поднял голову от письма, послушал и снова опустил её, дописывая последнюю строчку уже без прежней охоты, и карандаш у него дрожал теперь заметнее, чем от усердия.

— Это по Пантелееву, — сказал Хвостов тихо. Он единственный не удивился, будто ждал этого весь вечер.

— Может, мимо, — сказал Опарин, но без всякой уверенности, и никто ему не ответил.

Минут через двадцать со стороны опушки провели двух раненых — своих ли, чужих ли, разглядеть в темноте я не успел, — и следом на носилках пронесли третьего, накрытого шинелью с головой, и вся ячейка проводила это молча, кто-то встал, кто-то так и остался сидеть с недокуренной самокруткой в пальцах, и уже никто не смеялся, хотя Дьячков всё ещё держал в руке кусок сахара и машинально катал его между пальцами, забыв, зачем взял, и так и держал до самого утра.

— Земляка Пантелеева, — сказал кто-то из темноты. — Вчера ещё в карты играли.

Больше про это не говорили. Прохор сложил письмо треугольником, спрятал за пазуху и сидел так, глядя в огонь, и я видел, что он думает не про сахар и не про валенки, а про то же самое, про что думали все, — только у него это было написано на лице честнее, чем у остальных.

В блиндаж, пригнувшись, вошёл Бортников — он был снаружи, обходил позицию, — постоял в проходе, оглядел кучу одинаковых валенок, разложенный по кучкам сахар, притихших людей, и снял шапку, отряхивая с неё несуществующий снег, хотя снега ещё не было, и это привычное движение почему-то успокоило всех сразу.

— Валенки, я гляжу, все на один размер, — сказал он негромко, без всякого выражения, глядя на кучу у стены.

— Сорок третий, товарищ сержант, — отозвался Опарин.

— Ну и хорошо, — сказал Бортников, садясь на своё место у входа и подставляя руки к огню, растопыривая пальцы над жаром. — Значит, будем по очереди воевать.

Никто не засмеялся, но что-то в блиндаже стало легче, будто он одной этой фразой развязал узел, который все чувствовали, но не могли назвать, — и Гнутов первым потянулся к куче, взял пару валенок и, не примеряя, аккуратно поставил её у своего места, про запас, на будущее.

На рассвете пришёл приказ сниматься: роту переводили на новый рубеж за два перехода к востоку. Огонь залили, валенки разобрали тем, кому подошли, остальные привязали к вещ-

мешкам. Через полчаса мы уже вытягивались из окопов на дорогу; Прохор на ходу перематывал сбитую портянку и потому всё время отставал на шаг.

— Товарищ сержант, а как далеко ещё до этого нового рубежа? — спросил Прохор, подстраивая шаг под свои сбитые ноги.

— Как дойдём, так и узнаешь, — отозвался Бортников, не оборачиваясь.

Дорога шла между двух полей, ровная, разбитая колёсами, с сухой пылью, которая поднималась от каждого шага и садилась на зубы, скрипела на языке при каждом слове. Колонна растянулась на километр — где-то впереди голова, где-то позади хвост, а середина, в которой шёл я со своим отделением, плыла в собственном облаке пыли и усталости. Портянки у меня сбились ещё час назад, и с каждым шагом левая нога отзывалась горячей полосой под пяткой. Я перемотал их наспех на последнем привале, но толку от этого было немного, и я старался ступать чуть иначе, перекладывая тяжесть на внешний край стопы.

— Опарин отстаёт, — сказал я, оглянувшись.

— Опарин всегда отстаёт, — ответил Бортников. — Потом догонит.

Кондрат в самом деле тащился шагах в тридцати позади, припадая на ногу, и что-то бормотал себе под нос — ругался то ли на сапоги, то ли на командование, то ли на весь белый свет разом, и время от времени останавливался, чтобы стряхнуть камешек из-за голенища. Дьячков рядом со мной насвистывал какой-то мотив без слов, сбиваясь на каждом третьем такте, а Гнутов пытался поймать ритм этого свиста ногами и всё время попадал не в попад, отчего сам смеялся и один раз чуть не сбил с ног шедшего впереди.

— Слушай, Гринёв, — сказал Дьячков, — а правда, что в вашей деревне поп на медведя ходил?

— Не слышал такого.

— А мне Прохор рассказывал.

— Я не рассказывал, — сказал Прохор с обидой, чуть не споткнувшись от возмущения. — Это ты сам придумал.

— Придумал, значит, правда, — заключил Дьячков с довольным видом, и Гнутов опять засмеялся, хотя смеяться там было не над чем.

Колонна шла плотно — слишком плотно, если смотреть на неё не глазами усталого человека, а глазами того, кто хоть раз считал, сколько народу можно положить одной очередью в такую толпу. Люди шли в четыре ряда, почти впритык, между ними телеги с боеприпасами и ротным имуществом, лошади в упряжи мотали головами от мух и пыли, всхрапывая. Справа и слева — открытое поле, ни деревца, ни бугра, а кюветы у дороги неглубокие, будто их копали в спешке и бросили на середине.

— Товарищ сержант, — сказал я, подойдя ближе к Бортникову, — надо бы развести людей пошире. И телеги растянуть.

— Зачем? — Бортников посмотрел на меня искоса, не сбавляя шага.

— Дорога открытая. Ни леса, ни оврага. Если самолёты застанут — некуда деваться будет.

— Самолётов третий день не видать, — сказал он ровно. — А люди устали, Гринёв. Растянешь пошире — хвост оторвётся, потом два часа собирать будем.

— Всё равно бы...

— Иди отдыхай на ходу, — сказал Бортников, и в голосе у него не было злости, только усталость, такая же, как у всех. — Твоя дорога и небо — это, конечно, дело нужное, да только ноги у людей не казённые, я их растягивать не буду за здорово живёшь.

Я не стал спорить дальше. Спорить было не с кем — все смотрели себе под ноги, все считали шаги до следующего привала, и никому в эту минуту не было дела до того, как выглядит колонна сверху. Мне было. Я шёл и всё равно поглядывал на небо, пустое, белёсое, с редкими перистыми полосами, и слушал, склонив голову набок, будто это могло помочь услышать раньше.

Услышал я их раньше, чем кто-либо другой. Далёкий гул, ровный, на высокой ноте, проходящий откуда-то с запада, со стороны, куда садилось солнце. Сначала можно было принять его за телегу на разбитой дороге позади, но телега так не звучит — звук нарастал слишком быстро и слишком ровно, и у меня внутри что-то оборвалось, узнав его раньше, чем разум успел это назвать.

— Ложись! Самолёты! — заорал я, и голос у меня сорвался на середине слова.

На секунду, может, на полторы, никто не двинулся — люди просто повернули головы, ища глазами, о чём я кричу, потому что уши у них были забиты усталостью, шарканьем сотен сапог, собственным дыханием. Я уже видел их — две узкие тени вываливались из-за солнца, снижаясь, с характерным изогнутым крылом, которое ни с чем не спутаешь. И в ту же секунду я понял, что для них наша колонна — подарок. Плотная, узкая, на открытой дороге, зажата между двух неглубоких канав, без единого укрытия на километр в любую сторону. Идеальная цель, будто мы сами выстроились так, чтобы им было удобнее.

— В кюветы! Рассыпаться! — крикнул я снова, и на этот раз крик подхватили — Бортников заорал что-то своё, Ковригин где-то позади свистел в свисток, хотя от свистка толку не было никакого.

Первый заход они сделали вдоль дороги, не поперёк, — это была вторая причина, по которой колонна оказалась в западне. Поперёк очередь прошла бы полосой и ушла в поле, а вдоль дороги очередь ложится по всей длине колонны, выкашивая шеренгу за шеренгой. Я успел упасть в кювет, ткнувшись лицом в сухую траву, чувствуя, как сучок впился в щёку, когда земля впереди меня вспухла фонтанчиками пыли, идущими цепочкой прямо по дороге, туда, где секунду назад были люди.

Крик стоял такой, что заглушал даже мотор самолёта. Кто-то бежал в поле, напрямик, думая спастись расстоянием, и это была самая страшная ошибка — на голом поле человек виден так же ясно, как муха на белой скатерти, а самолёт догоняет бегущего в три секунды. Я видел, как один боец, кажется, из второго взвода, бежал, петляя, в сторону дальнего края поля, и как очередь настигла его на середине пути — он споткнулся, будто зацепился ногой за невидимую верёвку, и упал ничком, и больше не двигался.

Те, кто упал в кювет сразу, при первом крике, остались живы — я видел это боковым зрением, лежа сам, вжавшись в землю так, что чувствовал каждый камешек под щекой. Пули били по насыпи над головой, по дороге, по телегам. Одна из подвод с боеприпасами получила очередь прямо в задок, и ящики подскочили, но не взорвались — патроны, не гранаты, повезло. Лошадь в этой упряжи заржала так, что у меня в животе всё перевернулось, — не человеческим криком, а каким-то другим, звериным, полным чистой боли без понимания, за что.

Самолёт прошёл, набирая высоту, разворачиваясь широкой дугой, и на несколько секунд стало тихо, только стоны, только чей-то плач впереди, только эта лошадь, бьющаяся в постромках, пытаюсь встать на передние ноги, а задние у неё не слушались — очередь перебила ей хребет.

— Не вставать! Лежать! — крикнул я, увидев, как несколько человек приподнялись, решив, что всё кончилось. — Второй заход будет!

Второй заход они сделали через минуту, может, меньше. Я успел рассмотреть кресты на крыльях, короткое злое рыло мотора, лётчика в шлеме, наклонившегося к прицелу, — так низко они прошли. На этот раз они били не по дороге целиком, а по телегам, по тому, что осталось стоять, и по кучке людей у разбитой подводы, которые не успели отбежать в стороны. Земля под моим лицом дрожала от разрывов — теперь не только пулемёты, самолёты сбросили что-то мелкое, авиабомбы малого калибра, и одна разорвалась шагах в двадцати от меня, обдав кювет комьями земли и горячим воздухом, от которого заложило уши так, что весь мир на несколько секунд стал глухим и ватным.

Когда самолёты ушли на второй разворот, я поднял голову, чувствуя, как в ушах гудит, а во рту скрипит песок. Дорога была в дыму и пыли. Одна телега горела, вторая лежала на боку, колесо у неё крутилось само по себе, медленно, будто по инерции. Люди, кто мог, ползли к кюветам, к придорожным кустам, туда, где хоть какое-то укрытие. Другие лежали неподвижно там, где упали, и я не мог сказать издали, кто из них жив, а кто нет.

— Гринёв, ко мне! — крикнул Бортников из соседнего кювета, и голос у него был тем же тихим, страшным голосом, каким он говорил всегда, только сейчас в этой тишине между заходами он прозвучал особенно ясно.

Я перебежал к нему пригнувшись, прыгнув через край кювета так, что оцарапал ладони о мёрзлые комья.

— Третий раз пойдут, — сказал я. — У них ещё горючее и боезапас. Надо растащить людей по канаве, а не кучей.

— Хвостов! — заорал Бортников. — Тяни своих в дальний край, там кустарник хоть какой! Дьячков, за мной!

Я не стал ждать команды на себя — побежал вдоль кювета, хватая людей за плечи, за воротники, разводя их так, чтобы между группами было хоть несколько шагов, чтобы одна очередь не смогла накрыть больше двух-трёх сразу.

— Прохор, живой?

— Живой, — прохрипел он, лицо у него было белым, руки тряслись, но сам он был цел, только оглушённый, и он схватил меня за рукав, будто боялся, что я исчезну.

— Ползи туда, к тем кустам, и лежи, пока не скажу.

Раненая лошадь всё ещё билась в упряжи, и звук этот резал по нервам хуже любого взрыва. Она пыталась подняться, скребла передними копытами землю, и с каждым движением было видно, что задняя часть у неё не работает вовсе, что хребет перебит и она никогда больше не встанет. Возница, молодой парень, кажется, из хозвзвода, стоял рядом на коленях, зажимая себе плечо, и смотрел на лошадь с таким лицом, будто это было хуже собственной раны.

— Уйди, — сказал Хвостов, подбежавший откуда-то сбоку.

Он не спрашивал разрешения ни у кого. Достал наган — не свой, чей-то, подобранный тут же с земли, — и выстрелил лошади в голову, коротко, без замаха, без разговоров. Лошадь дёрнулась и затихла. Хвостов постоял секунду над ней, потом повернулся и потащил возницу за здоровую руку в кювет, не говоря больше ни слова.

Третий заход был короче двух первых — самолёты прошли только раз, добывая то, что осталось на дороге, и ушли на запад, набирая высоту, растворяясь в той же стороне, откуда пришли. Гул мотора стих не сразу, а истаявал долго, и всё это время никто не поднимался, потому что каждый ждал, что это обман, что они вернутся снова.

Они не вернулись.

— Ковригин! — крикнул Бортников, поднимаясь первым. — Ковригин, где ты?

— Здесь, — донеслось из кювета дальше по дороге, и голос у военфельдшера не сбился, будто он не под бомбами лежал, а сидел в санчасти над списком больных. — Несите ко мне, кто может двигаться. Остальных сам обойду.

Дорога после налёта выглядела так, что на неё было тяжело смотреть прямо. Одна телега сгорела дотла, вторая лежала на боку с разбитыми ящиками, из которых высыпались патроны прямо в пыль. Три лошади лежали в упряжи, неподвижные, и ещё одну, ту самую, добытую Хвостовым, отпрягли и оттащили в сторону, чтобы не мешала.

Убитых насчитали одиннадцать — я считал сам, вместе с Бортниковым, проходя вдоль дороги и вдоль кюветов, и на каждого записывал в памяти лицо, хотя половину людей в лицо не знал, они были из других взводов. Раненых оказалось больше, человек двадцать, из них шестеро тяжёлых, кого Ковригин с двумя санитарями уложил на уцелевшую телегу и на носилки из шинелей, натянутых на жерди.

— Времени хоронить нет, — сказал Бортников, глядя на убитых, разложенных у обочины в ряд, накрытых кто шинелью, кто плащ-палаткой. — Отметим место, доложим на новом рубеже, пришлют похоронную команду.

— А если не пришлют? — спросил Дьячков, и в голосе у него впервые за весь день не было ни насмешки, ни бодрости.

— Пришлют, — сказал Бортников так, что стало ясно — сам он в этом не уверен, но повторять вопрос никто не стал.

Опарин, оказавшийся живым — отставание от колонны его и спасло, он упал в канаву задолго до того, как самолёты дошли до основной массы людей, — помогал перекладывать раненых на подводу, ворча себе под нос что-то привычное, только голос у него дрожал сильнее обычного, и руки, которые обычно двигались уверенно, теперь суетились над носилками, будто не находили правильного места.

Гнутов сидел на краю кювета, обхватив колени руками, и не смеялся. Ковалёв возился со своим пулемётом, проверял, не забило ли ствол землёй при падении, деловито, без единого слова, будто это могло что-то исправить в том, что случилось на дороге за последние двадцать минут.

Я подошёл к Прохору. Он сидел там же, где я его оставил, у кустов, бледный, но невредимый.

— Живой, — повторил он, увидев меня, будто сам себе не верил, и потрогал себя за плечо, за грудь, будто проверял на ощупь, что всё цело.

— Живой, — подтвердил я. — Вставай, помогать надо.

Колонну построили заново через час — короче, реже, с большими промежутками между группами, с телегами, разведёнными на разные обочины. Бортников шёл впереди, я — чуть позади него, и никто из нас не заговаривал о том, что теперь дистанцию держали такую, о какой я говорил утром и которую тогда никто слушать не хотел.

— Дойти надо засветло, — сказал Бортников, не оборачиваясь, тем же тихим голосом, каким говорил всегда. — Приказ есть приказ.

Колонна тронулась дальше, оставляя позади сгоревшую телегу, ряд тел под шинелями и лошадь с перебитым хребтом, брошенную на обочине рядом с чужой дорогой, по которой нам ещё предстояло идти до самого вечера.

Глава 3. Двадцать три



— Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три...

Считал я вслух, громко, и голос у меня был совершенно дурацкий — звонкий, срывающийся, будто мальчишка на спор лезет в холодную воду. Я и лез. Двадцать четыре. Двадцать пять.

Первый выполз из ложбины боком, не так, как я рассчитывал, — не носом на меня, а левым бортом, потому что склон у выхода оказался круче, чем я вымерял ногами в октябре, и водитель повернул, чтоб не встать поперёк. И этим он мне всё испортил и всё подарил разом. Испортил — потому что решётка над мотором ушла от меня вправо, за корпус, и лужу мне туда было не положить. Подарил — потому что он на пять секунд повис на перегибе, показав днище и правую гусеницу, и остановился, качаясь, как лошадь, нащупывающая брод.

Двадцать девять.

Я не бросил.

Вот это я запомнил лучше всего из того дня: как я лежал на приступке в ячейке, вынесенной вбок, обхватив тряпкой холодное горлышко, и не бросил, хотя всё во мне орало кидать сейчас же, немедленно, пока он стоит, потому что руки просились, потому что двадцать метров, потому что живот был холодный до самого низа.

Он двинулся — и второй пошёл следом, забирая мористее, к третьей ячейке. И вот тогда первый развернул ко мне корму.

— Тридцать один, — сказал я себе спокойно и почти ласково и встал на колено.

Бросок вышел коротким. На метр ближе, чем надо. Бутылка ударилась о плотный грунт перед правой гусеницей и разлетелась не куда я хотел, а веером под низ, и керосиновая смесь ушла в мокрую землю и под трак, и я секунду думал, что промазал совсем.

А потом земля загорелась.

Он горел криво, длинным дымным языком, и вся эта дрянь пошла у него под днище и по правому борту, и то, что там у них в корме, у самой решётки, — брезент ли, укладка ли, промасленное ли что, — прихватило сразу, и потянуло чёрным.

— Ложись! — заорал Гнутов откуда-то из-за спины, и я упал в нишу мордой в глину, потому что успел вспомнить свои же слова про человека на броне с автоматом.

Человек на броне был. Он снёс мне край бруствера над головой одной длинной очередью, и глиняные комья прыгали по каске.

Танк отработал задним ходом, дёрганно, тяжело, разворачиваясь на месте, — и я, лёжа, чувствовал, как земля идёт волнами, и понимал, что вот этот танк я уже отсюда не выковыряю ничем, у меня осталось две бутылки, а он теперь знает, где я, и он один раз за сегодня уже проехал по этой стороне.

Он не проехал. Он ушёл вниз, в ложбину, волоча за собой дымный хвост, и второй, увидев дым, тоже попятился и осел за перегиб.

А пехота — та, что шла деловым шагом, — залегла на трёхстах и стала вжиматься в мокрую землю.

Всё.

Так прошла вся первая волна. Двадцать шесть минут по часам Опарина.

Я сел на дно ячейки, вытянул ноги и почувствовал, что меня трясёт всего, от челюсти до колен, крупно и стыдно, и что делать с этим ничего нельзя, надо переждать, как переживают дождь.

— Кузьмич! — Гнутов сунулся в ячейку, красный, без шапки, с прилипшей ко лбу чёлкой. — Кузьмич, он горит!

— Он не горит, — сказал я, стуча зубами. — Он дымит. Это разные вещи, Митя. У него подпалилось барахло на корме, а сам он целёхонек, доедет до своих, отряхнётся и завтра к нам приедет опять.

— А чего ж тогда ушёл?

— А потому что танкист сидит в железной коробке и не видит, где у него горит и как сильно. Он видит дым и слышит, как ему кричат. И он делает единственную умную вещь: отходит и смотрит. — Я подышал в кулаки, как тот мальчишка Тищенко утром. — Митя, ты пойми главное. Мы его не убили. Мы его прогнали. За два месяца работы двенадцати человек лопатами — мы его прогнали на двадцать минут. Вот наш с тобой честный итог, и это очень хороший итог, потому что двадцать минут — это иногда всё.

Гнутов подумал.

— Ты обосрался? — спросил он с интересом.

— Нет, — сказал я.

— А трясёшься чего?

— От радости, — сказал я. — Я, Митя, натура тонкая, впечатлительная. Мне кровь горячит любое зрелище.

И тут меня, наконец, отпустило, и я засмеялся, и Гнутов заржал следом, и мы сидели в ячейке два дурака и хохотали, и от этого стало легче на весь остаток дня.

Потом пришло время считать.

Считать всегда приходит время, и это самая нелюбимая моя минута на любой войне: когда всё кончилось, все живы, всё держится — и ты идёшь по линии и складываешь то, что за это заплачено.

По взводу вышло так.

Хвостов — цел. Опарин — цел, только рассёк бровь о крепь, когда его приложило, и ходил с залепленной глиной бровью, страшно недовольный, что глина сохнет и стягивает кожу.

Мазуров — цел, но левую ногу ему в глине вывернуло, и он теперь наступал на неё бочком.

Гнутов — цел.

Сычов, у второй ячейки, — осколком в мякоть плеча навyleт, повезло невероятно. Его перевязали и он сидел, привалившись к крутости, и белый был как бумага, и всё порывался встать и говорил, что может стрелять.

И один — не наш, из третьего отделения Хвостова, который прибежал к нам утром с запиской и застрял, потому что началось, — Куприянов, тот самый, что заворачивал мне бутылки в мешковину и перекладывал соломой. Он лежал у первой ячейки под шинелью, и лица я ему не открывал, потому что мне сказали, что не надо, а Опарин сказал не так: он сказал «не смотри, Кузьмич», и по тому, как он это сказал, я понял, что надо слушаться.

Двадцать три года. Из Егорьевска. Я с ним разговаривал сегодня утром четыре минуты и запомнил, что у него зубы белые и что он трижды переспросил, точно ли три бутылки давать, потому что «Хвостов потом с меня спросит».

Вот и вся справка, какую я о нём знаю.

Я стоял над шинелью и думал не «как же так», а совершенно чужую, взрослую, стариковскую мысль: что вот теперь надо будет написать Хвостову, а Хвостов напишет матери, а мать в Егорьевске получит бумагу и не будет знать про белые зубы и про три бутылки, и что вся память об этом человеке, вся целиком, на сегодняшний день умещается в четыре минуты разговора у меня в голове.

— Гринёв.

Я обернулся. Бортников стоял с расстёгнутым воротом, весь в земле, и держал в кулаке карандаш — не как для письма, а как держат гвоздь.

— Он мой, — сказал я.

— Он клюшинский.

— Он мой, товарищ сержант. Он ко мне пришёл с бутылками и у меня остался.

Бортников посмотрел на меня коротко.

— Он ничей, — сказал он. — Он теперь общий. Пошли, покажешь, где стенка легла.

И мы пошли смотреть, где легла стенка, и я был ему благодарен за эти три слова больше, чем за все прежние похвалы.

Пауза после боя — вещь странная. Она наступает не сразу: сначала ещё минут двадцать все ходят быстро и говорят громче, чем надо, потом кто-то садится, потом кто-то закуривает, и вдруг оказывается, что стоит день, что солнце белое и низкое, что земля на бруствере местами обгорела, а местами осталась мокрой, и что жрать хочется зверски.

Мы успели поесть.

Мы даже успели вскипятить, и Хвостов, хромая, разносил кипяток по линии и ругал того, кто выдумал делать котелки такой формы, что их не за что взять.

И вот в эту-то паузу, часа в три пополудни, со стороны хозвзводской тропы по ходу сообщения раздался знакомый мне до костей скрип — только теперь не с прихрамыванием на третий шаг, а другой: с задержкой на каждом втором, будто человек в этом месте всякий раз задерживает дыхание.

Я сидел на приступке. Я узнал этот скрип раньше, чем поднял голову.

Селиванов шёл сам. На своих ногах, боком, левую руку прижав к боку под шинелью, а правой держась за крутость, и лицо у него было серое и мокрое, потому что три версты по такому ходу со сломанным ребром — были не прогулкой.

Я вскочил так, что чуть не выронил котелок.

— Иван Матвеевич!

— Тише ты, — сказал он. — Тише, не ори, не в лесу.

Он остановился в трёх шагах, перевёл дыхание, и мы посмотрели друг на друга.

В ту секунду я понял, что все прошлые сутки я обходился заменителями. Мне сказали «живой» — я обрадовался слову. Мне сказали «ругается» — я обрадовался примете. А обрадоваться по-настоящему, целиком, как радуются взрослые люди, — этого мне никто не мог

дать, кроме него самого, живого, серого лицом, злого от боли, стоящего вот тут, в трёх шагах, в моей траншее.

И я стоял и просто смотрел на него, и молчал секунд пять, а для меня пять секунд молчания — это как для другого человека рухнуть на колени и заплакать.

— Ну чего ты, — сказал Селиванов сердито. — Чего ты вылупился. Живой я.

— Живой, — сказал я.

— Живой, живой. Ребро треснуло, а не помер же.

— Иван Матвеевич, — сказал я, — вы садитесь.

— Не сяду. Сяду — потом не встану, у меня тут всё под левой рукой заклинивает.

Постою.

— Тогда я вам вот сюда локоть подставлю, а вы на локоть обопритесь и всё равно постоите. Вот так. Хорошо.

Он оперся. Он был лёгкий, оказывается, — я это в первый раз почувствовал. Немолодой обозник, шестой десяток, вечно в тулупе, вечно ворчащий, — а под тулупом одни кости.

— Ты, — сказал он, отдышавшись, — ты соображаешь, что вы наделали?

— Кто?

— Вы. Ты и сержант ваш. Двадцать пятого числа я вам чего вёз?

— Плитняк.

— Плитняк я вам вёз, потому что этот вот, — он ткнул подбородком в сторону накатов над щелью, — этот вот заявил, что накат без плиты — не накат. И я, старый дурак, ходку сделал лишнюю. И ругался. Помнишь, как я ругался?

— Помню, Иван Матвеевич. Вы тогда сказали, что я хуже, чем немец, потому что немец хоть по расписанию.

— Так вот. — Селиванов посмотрел на щель, на крутость, на одетые лозой стенки, на живых людей, которые ходили по этой траншее и пили кипяток. — Мне в Осиновке бабки сказали: у вас, говорят, ночью гремело за оврагом, страсть. Я лежу и думаю: ну всё, поехал мой плитняк.

Он замолчал.

— Целы, — сказал он наконец. — Все?

— Не все, — сказал я. — Куприянов из третьего отделения. И Сычов ранен.

— А-а, — сказал Селиванов и снял шапку, и подержал её в руке, и надел обратно, и всё это молча, потому что он был человек той породы, что не умеет говорить о таком словами и делает вместо слов руками.

Потом он полез за пазуху.

Полез неудобно, правой рукой через левый борт, кряхтя и сипя сквозь зубы, и я хотел помочь, и он на меня зашипел так, что я убрал руки.

— Сам. Не лапай. Я их всю дорогу вот тут держал, у самого тела, они у меня отсырели немножко от пота, ты уж извини.

И достал.

Два треугольника. Мой — казённый, с бортниковской подписью, и второй — тот, ночной, при копилке, с вымеренными словами.

Оба целые. Оба мятые, с расплывшимся по сгибу карандашом на моём и с тёмным пятном на углу, где промокло.

— Вот, — сказал Селиванов. — Забери, что ли. Я их не донёс.

— Как — не донесли?

— А так. Я к оврагу подошёл, а на низовой дороге перекрёсток уже забит подводами, и мне ходу нет, и я стал в объезд, и с телеги навернулся. Утром меня подобрали, а к вечеру ефрейтор Ляшко пошёл в санроту с бумагами, я ему говорю: возьми, доставь. А он мне: не могу, батя, у меня своё поручение, я в санроту не иду, я в хозвзвод. — Селиванов посмотрел

на меня. — Я, Андрюха, твоё письмо не доставил. Ты уж... — Он пошевелил челюстью. — Ты уж как хочешь.

И вот тут во мне сделалась совершенно ясная, ровная тишина.

Потому что я стоял и держал в руках два своих непереданных письма, за которые заплачено чужим ребром, и они были совсем ни к чему, и весь мой ночной расчёт был ни к чему, и всё это я уже пережил утром, отдельно, стоя в грязи с бутылками за пазухой.

А сейчас во мне не было ни обиды, ни досады. Совсем ничего.

— Иван Матвеевич, — сказал я. — Вы мне лучше вот что скажите. Как вы вообще эти три версты сюда шли, с боком?

— Медленно, — сказал он.

— Зачем шли?

— Затем, — сказал он и вдруг посмотрел мне прямо в глаза, и был он в эту минуту совсем не смешной и совсем не ворчливый, — затем, что мне велено передать, а бумагой не передашь.

Я замер.

— Кем велено?

— Ею.

— Кем — ею?

— Ох, боже ты мой, — сказал Селиванов с невыразимой тоской. — И вот эти люди воюют. Ребровой велено. Марией Игнатьевной.

У меня, кажется, что-то сделалось с лицом, потому что Селиванов посмотрел и хмыкнул.

— Ты сядь-ка сам, — сказал он.

— Я стою.

— Ну стой. Дело такое. Их же снимали с рубежа, ты знаешь?

— Знаю. Слышал.

— Ну вот. А снимали в ночь на семнадцатое, и грузились они кое-как, потому что машин дали три, а барахла на шесть. И я как раз с той стороны шёл, до того ещё, до оврага, — я ж мимо школы шёл, у меня дорога мимо. И вижу: стоят полуторки, и она у крыльца с ящиками, и на ней шинель внакидку и руки красные. Я ей: Мария Игнатьевна! А она: кто? А я: Селиванов, обозник, я вам в октябре бинты возил. Она: помню. — Он перевёл дух и сморщился. — Слушай, у тебя закурить есть? Мне нельзя, я не буду, ты просто дай подержать.

Я дал ему свернуть, и он держал самокрутку в кулаке, не прикуривая, и говорил дальше.

— Я ей говорю: а я, между прочим, к Гринёву в роту еду. И она — вот прямо сразу, я и договорить не успел — она ящик поставила и повернулась. И спросила.

— Что спросила?

— «Он жив?»

Селиванов покрутил самокрутку.

— Не «как он», не «что передать». Первым делом — жив ли. Я говорю: жив, здоров, копает, языком чешет за троих. А она стоит и молчит. Потом говорит: «Скажите ему, Селиванов». Я говорю: чего сказать? Она говорит: «Скажите ему, что письма его я читаю не по одному разу. И чтоб писал ещё. И что я — рада».

— Чему рада?

— Ей-богу, Андрюха, — сказал Селиванов, — вот ты умный парень, а иногда — как пробка. Тому и рада. Что ты есть.

Я стоял в траншее, на дне которой валялись брошенные лопаты, среди обгоревшей земли, в трёх шагах от накрытого шинелью человека из Егорьевска, — и у меня внутри разворачивалось что-то тёплое, медленное и совершенно не соответствующее обстановке, и я ничего не мог с этим поделать.

— Она так и сказала? — спросил я. — «Рада»?

— Так и сказала.

— А как сказала? Быстро? Медленно?

— Господи прости.

— Иван Матвеевич, это важно.

— Медленно она сказала, — Селиванов повертел неприкуренную самокрутку в пальцах. — Подумавши. Сначала: «Скажите ему, что я...» — и запнулась. Несколько секунд постояла молча. А потом сказала: «рада».

Вот на этом месте у меня в груди стало горячо и глупо, как в четырнадцать лет, и я, взрослый мужик, проживший одну целую жизнь и половину второй, стоял и считал в уме, сколько времени она молчала между «что я» и «рада», и что она могла бы туда поставить.

— Спасибо, — сказал я. И повторил: — Иван Матвеевич, спасибо. Вы три версты со сломанным ребром прошли, чтоб мне это сказать.

— Я ещё за телегой пришёл, — буркнул Селиванов. — Телегу-то надо вытаскивать.

— За телегой вы бы Ляшко послали.

— Много ты понимаешь.

— Ничего не понимаю, — согласился я. — Совершенно тёмный человек. Иван Матвеевич, а вот теперь скажите мне ещё одну вещь, и я вас отпущу, честное слово.

— Ну.

— Куда их перевели?

Селиванов помолчал.

Он молчал как-то не так, и я это сразу услышал.

— Вот, — сказал он. — Я знал, что ты спросишь. Я всю дорогу шёл и думал: спросит или не спросит. И решил, что спросишь.

— Куда, Иван Матвеевич?

— Не за Кубинку, — сказал Селиванов. — Это в бумаге писали за Кубинку, а на деле их развернули ближе. У Дорохова, слева от нас, там село, я названия точно не скажу, у них там церковь без креста и школа каменная. Верстах в двенадцати. Хирургическую — ту, да, ту дальше повезли. А приёмно-сортировочный оставили там. И она при сортировочном.

Я почувствовал, как у меня остывает всё то тёплое, что только что было.

— Двенадцать вёрст, — сказал я.

— Двенадцать. — Селиванов пожевал губами. — Мне, знаешь, шофёр объяснял, я слушал. Говорит: раненого дальше сорока вёрст не увезёшь, помрёт по дороге, дорог нет, машин нет. Говорит: сортировочный должен стоять близко, иначе он не сортировочный, а кладбище. Вот и поставили близко.

— Слева от нас, — сказал я. — То есть на соседнем участке.

— На соседнем.

— Где тихо.

— Где тихо, — сказал Селиванов и посмотрел на меня. — Ты чего опять замолчал? Ты когда молчишь, у меня душа не на месте.

— Ничего, — сказал я. — Я думаю, что двенадцать вёрст — это близко.

— Близко, — согласился он. — Дойти можно.

— Я не про то, что дойти, — сказал я.

Я и правда был не про то. Я был про то, что на войне двенадцать вёрст — это не расстояние, а полтора часа хода танковой роты по хорошей дороге. И что «где тихо» — это не свойство места, а расписание, которое пишут не у нас.

Но говорить этого Селиванову я не стал, потому что человеку со сломанным ребром надо возвращаться в тепло, а не носить в себе чужие мысли.

— Иван Матвеевич, — сказал я. — Хвостов вас проводит до тропы, и не спорьте, потому что вы у меня в траншее и тут я хозяин. И вот вам ещё: скажите Ляшко, чтоб телегу не тянули

вдвоём, пусть возьмут третьего и верёвку заводят за ось, а не за оглоблю, иначе вы себе всю упряжь порвёте на подъёме.

— Учи учёного, — сказал Селиванов с наслаждением. Он этого ждал всю дорогу, я думаю.

Он ушёл, а я сел на приступку и минуты три сидел, ничего не делая, и это была самая долгая безделица за месяц.

Потом пришёл Бортников с планшеткой.

Планшетка у него была немецкая, трофейная ещё с сентября, порыжевшая, с треснувшим целлулоидом, и он ей страшно дорожил, а внутри у него лежал огрызок карандаша и три листа — на двух были схемы, а третий был исписан с одной стороны и чистый с другой. Тот самый лист, на котором я в прошлый раз чертил Хвостову секторы.

— Садись, — сказал Бортников. — Разбираться будем, пока дают.

— Дадут?

— Часа полтора дадут. — Он посмотрел на запад. — Он сейчас перегруппируется, доложит, получит по шапке за дым и придёт снова. Он всегда приходит снова, если ему не сломали замысел, а мы ему замысла не сломали, мы его только пощекотали.

Я сел рядом.

И вот тут был кусок работы, который я люблю больше всего на свете — больше боя, честно скажу, — когда всё уже случилось, всё видно, ничего не надо угадывать, и можно спокойно, по-хозяйски разобрать, что сработало и почему.

— По порядку, — сказал я. — Первое: одетая крутость. Держала. Двенадцать минут арт-налёта, из них не меньше пяти разрывов ближе тридцати метров, и на всей нашей линии стенка легла в одном месте — там, где мы её не переделывали и где кол стоял старый, сентябрьский, из сырого осинника. Он сгнил в комле. Я его вытащил рукой, товарищ сержант, без всякой лопаты.

— Значит?

— Значит, все колья в одежде крутостей надо перебрать до морозов. Ольха и осина в комле не живут. Дуб живёт, берёза живёт полгода. У нас в одежде процентов сорок осины, потому что осину рубить легче.

Бортников записал. Он записывал коротко, буквами вкось: «колья — осина долой».

— Второе: ниши. Три ниши сработали ровно так, как я обещал, и одна не сработала, потому что была недорыта, и в ней чуть не задохся Мазуров. Отсюда правило, и я прошу вас его в роту передать: недорытая нора хуже, чем никакой. Если нора не готова, человека к ней не приписывают, а приписывают к соседней. Я утром сказал «Мазуров в четвёртую» и не отменил, и он полез в четвёртую.

— Твоя вина, — сказал Бортников без выражения.

— Моя.

— Я это в роту и передам. Дальше.

— Третье, и самое неприятное. — Я взял у него карандаш. — Товарищ сержант, вот тут я вам сейчас скажу вещь, которая мне самому не нравится. Всё, что мы вчера ночью сделали против танка, — это латание. Мы взяли готовый стрелковый профиль, отрытый под пехоту, и навешали на него заплаты: ниши, бутылки, счёт вслух. Это сработало. Сегодня сработало.

— А завтра?

— А завтра он придёт с четырьмя машинами вместо двух и с пехотой, которая пойдёт не в трёхстах позади, а на броне, и ссадит её прямо на бруствер. И тогда наши ниши превратятся в мышеловки, потому что человек лежит в норе с руками на затылке, а сверху к нему заглядывают.

Бортников молчал.

— Что предлагаешь?

Глава 4. Чертёж на обороте



Я перевернул лист чистой стороной и стал чертить.

— Предлагаю не заплату, а профиль. Заранее, по расчёту. — Я провёл длинную линию. — Смотрите. Наша траншея — прямая, по гребню. Он это видит и знает, что она прямая, и когда он на неё встанет, он поедет вдоль. Вдоль — самое страшное, потому что он идёт по стенке и сминает её на всю длину, и всё, что в ней, — под ним.

— Ну.

— А теперь так. — Я нарисовал ломаную, зубцами. — Трассу режем изломами через каждые пятнадцать — двадцать метров, с углом градусов в сто двадцать. Не для красоты. Для трёх вещей. Первое: он не может идти вдоль, ему приходится всё время доворачивать, а доворот на бруствере — это потеря скорости и подставленный борт. Второе: осколки и продольный огонь не гуляют по всей траншее, а бьются в излом. Третье, и главное: если он всё-таки сел на один отрезок и подавил его, соседний отрезок цел и оттуда его видно в борт.

— Излом, — сказал Бортников. — Мы так в финскую делали, у нас это звали «коленчатая». Только мы её делали от продольного огня, а не от танка.

— Вот, — обрадовался я. — Значит, не я выдумал, значит, спорить не с кем. Дальше. — Я стал чертить поперечник. — Профиль меняем: не корыто, а трапеция обратная. Дно шире верха. Сейчас у нас метр по верху и восемьдесят по дну — это когда стенки сходятся, человека складывает. Делаем: семьдесят по верху и сто двадцать по дну, с подбоем в стенках. Верх узкий — гусеница не заходит внутрь, а мостится по краям и режет мёрзлый грунт, а не сыпучку. Низ широкий — есть куда лечь и есть воздух, даже если верх осыпало.

— Копать втрое дольше.

— Вдвое, — сказал я честно. — Втрое — это если по мёрзлому. И потому это и надо начинать сейчас, пока лом ещё берёт, а не в декабре, когда грунт станет как чугун и мы будем его палом отогревать.

Бортников взял у меня карандаш и сам поставил на чертеже несколько крестиков.

— А это что?

— А это то, о чём ты не сказал. Стрелок с бутылкой. — Он постучал карандашом. — Ты его сегодня посадил в вынесенную ячейку и сам в неё сел. И тебя чуть не срезали с брони. Значит, ячейка плохая.

— Ячейка хорошая, — сказал я. — Место плохое. Ей нужен ход назад, полного профиля, чтоб человек бросил и ушёл под землю, а не лёг в той же дырке, где его видели. Метров шесть-восемь глухого хода. Это ещё день работы на каждую точку.

— День работы на точку, — повторил Бортников. — Точек надо сколько?

— На нашем фланге — три. По направлениям, откуда он может выйти. Ложбина, вот эта; стык у перегиба; и низина за третьей ячейкой, если он решит обойти справа.

— Три дня, — сказал Бортников. — семью людьми, из которых один хромым, один раненый и один с вывернутой ногой. Итого четыре здоровых.

Я замолчал.

Потому что вот тут ровно и упирается вся моя война двадцать шестого года в войну сорок первого. Там я бы сказал: инженерное отделение, техника, двое суток, — и оно было бы сделано. Тут у меня четыре здоровых мужика, две лопаты приличных и лом с расклёпанным концом.

— Не три дня, — сказал я наконец. — Три дня целиком — не будет. Значит, режем по частям, начиная с самого нужного. Самое нужное — коленчатость на стыке между третьей и четвёртой, потому что он выходит ровно туда. Два излома. На два излома — полдня четырьмя людьми.

— Полдня у нас, может, и есть, — сказал Бортников и посмотрел на солнце. — А может, и нет.

Он сложил лист вчетверо и убрал в планшетку, и вот это движение — как он убрал мой чертёж не в карман, а в планшетку, к своим схемам, — сказало мне больше, чем сказал бы час похвал.

— Гринёв.

— Я.

— Ты, когда сегодня в ячейке считал, — до скольких досчитал?

— До тридцати одного.

— А учил Гнутова до двадцати трёх.

— Так Гнутов бы и на двадцати трёх бросил, — сказал я. — А я мог позволить себе ещё восемь. Это не геройство, товарищ сержант, это арифметика: у меня в тот момент цена промаха была меньше, чем цена раннего броска, потому что за мной оставалось ещё две бутылки, а у Гнутова — ни одной.

Бортников хмыкнул и полез за кисетом.

— Вот когда ты так говоришь, — сказал он, — я тебе верю целиком. А когда ты говоришь «я умею считать вслух» — я тебе верю наполовину и жду подвоха.

Мы взяли два излома. Один целиком, второй наполовину.

Работали вчетвером: я, Гнутов, Хвостов на подхвате сидя, потому что стоя он к вечеру уже не мог, и Опарин, который, разумеется, тут же переделал мне угол — сказал, что сто двадцать много и надо сто десять, «чтоб земля в углу не сползала», — и, разумеется, был прав.

В четыре пополудни стало смеркаться. В четыре пятнадцать над западным перегибом взлетели две зелёные ракеты одна за другой, и Опарин сказал:

— Ну вот.

Вторая волна пришла не так, как первая.

Первая шла на нас как на работу. Вторая шла как на дело, которое надо закончить.

Артналёт был короче — минут пять — и весь по нашей линии, без всякого интереса к гребню за спиной. Из этого я понял главное и заорал вдоль траншеи, ещё пока сыпалось:

— По линии бьёт! Значит, сразу за ним пойдут! Из нор на счёт десять после последнего, не раньше и не позже!

Их было четыре.

Два вышли ложбиной, как утром, — и на них я смотреть не стал, потому что ложбина была моя и я знал, что там будет.

А два пошли справа, низиной за третьей ячейкой. Той самой, которую я назвал Бортникову третьим направлением полчаса назад и на которую у нас не хватило ни дня, ни людей.

И пехота на них сидела. На броне. По пять-шесть человек на машину, гроздьями, как я и говорил, и они посыпались с брони на двухстах метрах, ещё до того, как мы открыли огонь.

— Опарин! Держи низину! — заорал Бортников. — Гнутов, к третьей! Хвостов, плита!

Я побежал к своей ячейке — и на середине пути понял, что бегу не туда.

Потому что первые два, ложбинные, шли медленно, ощупью, и передний забирал влево, обходя горелое пятно, где утром горела земля. Он его обходил. Он помнил.

А правые два перли прямо на низину, где стенка была старая, сентябрьская, где мы ничего не успели, где было четыре осинового кола на восемь метров и где сидели Опарин с одной винтовкой и Мазуров с вывернутой ногой.

Вот тут я и сделал то, за что мне потом было и стыдно, и не стыдно одновременно.

Я развернулся, схватил из ниши обе оставшиеся бутылки, сунул одну за пазуху, вторую в левую руку, и побежал по траншее вправо, вдоль, сгибаясь, чувствуя, как в спину бьёт глиняная крошка от разрывов, и на бегу орал, чтоб слышали:

— Ухожу на низину! Ложбина пустая! Товарищ сержант, ложбина пустая!

— Иди! — донеслось сзади.

Я добежал за минуту, а мне показалось — за час.

Низина.

Стенка на восьми метрах уже сложилась наполовину — не от танка, от артналёта, — и Опарин стоял по колено в осыпи и бил из-за бруствера через эту осыпь, а Мазуров сидел ниже и подавал ему обоймы, потому что стоять на своей ноге не мог.

И танк был в шестидесяти метрах.

Он шёл на просевший участок, как вода идёт в проран. Он его видел. Он прямо туда и шёл, потому что бруствер там осел и трасса читалась как разрыв в линии, а танкист — не дурак, танкист всегда идёт туда, где ниже.

За ним, метрах в сорока сзади, шёл второй, а между ними и правее короткими перебежками работала пехота, человек двенадцать, и работала грамотно: двое лежат и бьют, трое перебегают.

Я упал рядом с Опариним.

— Кондрат Силантыч! Уходи в излом! Оба уходите!

— Куда — уходи? — заорал он. — Я его тут держу!

— Ты не его держишь, ты его пехоту держишь и делаешь это правильно, но ты стоишь на осыпи, а он идёт на осыпь! Он тебя тут закопает, и ты будешь лежать под своим же бруствером! Уходи за излом, оттуда бей ему в борт, мы вчера этот излом для чего резали?!

Опарин на секунду обернулся, и я увидел его глаза — не испуганные, а упрямые, злые, стариковские.

— А ты?

— А я останусь, потому что мне надо, чтоб он сюда доехал!

Вот такой у нас вышел разговор на пятидесяти метрах.

Он послушался. Он был мужик разумный, Опарин, и он схватил Мазурова за шиворот, как щенка, и потащил его по дну за излом, и Мазуров орал, что сам, сам пойдёт, и они оба свалились в угол и оттуда сразу начали бить.

А я остался на осыпи.

И вот тут — самое главное во всём этом дне: это не про храбрость.

Я не собирался бросать в него бутылку на осыпи.

Я собирался сделать так, чтоб он на осыпь въехал.

Потому что просевший участок — это яма. Это восемь метров, где траншея превратилась в неглубокую канаву с пологим входом, засыпанную рыхлой осыпью, а под осыпью — наша полутораметровая глубина. Плотной кромки там нет: мы её сегодня утром сами разбили, копая. Под мокрым дёрном — рыхлая перекопанная земля и пустота.

Танк весом за двадцать тонн, входящий передком в пологую яму с рыхлым дном, делает одну очень предсказуемую вещь.

Он садится.

Не проваливается, нет. Он просто зарывается носом, теряет опору на передних катках, гусеница начинает грести, и вместо того, чтоб проехать за десять секунд, он проводит на этом месте полминуты, дёргаясь взад-вперёд и разбрасывая землю.

Полминуты. Мне нужно было полминуты.

Я скатился по осыпи вниз, в саму яму, вжался в остаток стенки под нависший кусок дёрна — в единственное место, где меня не было видно сверху, — и стал ждать, обхватив бутылку двумя руками.

Земля пошла волнами. Сначала мелко, потом крупно, потом так, что меня стало подбрасывать вместе с осыпью.

Он навис.

Я его не видел — я видел только, как темнеет небо надо мной, как из-за края лезет серая нависающая масса, и как сыплется сверху земля мне на спину, и как сверху надвигается ревящее, лязгающее, воняющее выхлопом и раскалённым железом.

И он сел.

Ровно так, как я считал. Передок ушёл вниз, гусеницы взвыли на два тона выше, он дёрнулся вперёд, назад, забуксовал, и левая гусеница пошла вхолостую, выбрасывая веер мокрых комьев.

Я считал вслух. Я орал в землю, себе в грудь, потому что вокруг стоял такой грохот, что человеческий голос в нём был всё равно что мысль:

— Двадцать один! Двадцать два!

На «двадцать три» я вылез из-под дёрна с левой, с ослеплённой стороны — там, где у них смотровая щель не берёт, — поднялся по осыпи на четвереньках до уровня катков и увидел прямо перед собой, в двух шагах, работающую гусеницу и грязный борт.

И решётку.

Он стоял ко мне левым бортом и задранной кормой, и решётка над мотором была открыта мне вся, целиком, как на картинке в наставлении.

Я не бросал. Я не мог промахнуться с двух шагов, и бросать было незачем.

Я просто разбил бутылку об угол над решёткой, ударив от плеча, как бьют молотком по клину.

Оно вспыхнуло сразу.

Не как утром, когда горела земля, — а сразу, гулко, с хлопком, потому что попало на горячее. Пламя пошло по решётке и внутрь, и я увидел, как оно втягивается в щели, будто там кто-то дышит.

Меня отбросило жаром на спину, и я поехал вниз по осыпи, обдирая локти, и последним, что я успел сделать осмысленного, — это перекатиться под нависший дёрн, потому что там меня не было видно.

Дальше я лежал.

Дальше было так: рёв мотора сорвался на визг и оборвался. Наверху кричали. Люк лязгнул. Кто-то тяжело упал в грязь в трёх метрах от меня, и я увидел ноги в сапогах и услышал,

как человек воет — не кричит, а именно воет на одной ноте, — и ещё двое выскочили и потащили его вбок, и Опарин из-за излома срезал одного из этих двоих, и я слышал, как Опарин при этом матерится, длинно и ровно, как молитву.

А второй танк остановился в сорока метрах позади и не пошёл дальше.

Не пошёл, потому что перед ним в яме горела его машина и потому что он не знал, отчего она загорелась, а танкист, который не знает, отчего загорелась соседняя машина, всегда останавливается. Это универсальный закон, он работал и в сорок первом, и в двадцать шестом, и будет работать всегда, пока люди воюют в железных коробках с плохим обзором.

Он постоял, отработал по нашей линии из пушки — раз, другой, третий, — и стал пятиться.

А пехота его осталась одна на открытом месте, на двухстах метрах, без брони, и с ней стали работать Опарин из излома, Гнутов из третьей ячейки и Бортников, который к тому времени уже был здесь, потому что он всегда оказывался здесь.

Их отбили за одиннадцать минут.

Я вылез из-под дёрна, когда всё кончилось, и первое, что понял, — я не слышу правым ухом. Совсем. Ватно.

Второе — у меня на левой руке нет брови. То есть бровь есть, а волос на ней нет, и ресниц на левом глазу тоже нет, и вообще половина лица неприятно натянута, как бывает от солнечного ожога, только сильнее.

Третье — я цел.

Меня вытащил Гнутов. Он тянул меня за шиворот вверх по осыпи, поскальзываясь, и что-то орал мне в лицо, и я видел, как у него шевелится рот, и слышал это как из-под воды.

— Ты чего орёшь? — сказал я. — Ты в левое ухо ори. Правое отдыхает.

Он заорал в левое:

— Кузьмич! Он сдох!

— Он сдох, — согласился я. — А чего у тебя такое лицо?

— У меня?! Ты на своё погляди!

Разбор пошёл сразу, потому что темнело и надо было успеть по светлому.

Итог второй волны был такой.

Двое убитых: боец из второго отделения у плиты и боец из третьего отделения, чьей фамилии я тогда не знал.

Первый сидел за той самой каменной плитой, ради которой обозник Селиванов сделал лишнюю ходку перед последним налётом, и бил оттуда, потому что стоять на ноге уже не мог, а сидя из-за плиты у него получалось хорошо. Третьим выстрелом из пушки, тем самым, что отходящий танк отработал наугад по линии, плиту накрыло.

Мы её сегодня утром хвалили, эту плиту. Я её хвалил. Я говорил: накат без плиты — не накат.

Он лежал под ней, и вытаскивали его шестеро, и я, когда его вытащили, сел на дно траншеи и минуты две не мог встать, и все ходили мимо и никто мне ничего не сказал.

Потом я встал, потому что надо было идти смотреть трофеи, а идти было надо, потому что уже темнело.

Мы пошли вчетвером: я, Бортников, Гнутов и один из клюшинских.

Танк стоял в яме, носом вниз, и от него ещё шло тепло, и внутри что-то потрескивало и оседало. Пахло так, как пахнет только это, — жжёной краской, резиной, соляжкой и ещё кое-чем, о чём я не буду.

Возле него в мокрой земле лежали трое.

С них взяли оружие — два пистолета и автомат, — и Бортников сам собирал документы, потому что документы у мёртвых должен собирать старший, а не кто попало.

А в грязи, метрах в четырёх, отброшенный, полураскрытый, лежал планшет.

Я его поднял. Кожаный, жёсткий, с целлулоидом, как у Бортникова, только целый и новый, и внутри лежала сложенная карта — крупная, чистая, с ровно нанесённой синей штриховкой, — а под картой три листа.

Два были рукописные, и я их отложил.

А третий был напечатан.

Я развернул его у костерка, который Гнутов запалил в яме от горелого барахла, и держал его двумя руками, потому что руки у меня к тому времени начали дрожать по-настоящему, не как утром.

Я по-немецки читал плохо. Я вообще, признаться, за прошлую жизнь выучил на этом языке десятка три слов, и ещё десятка два прибавилось за эти недели — из брошенных бумажек, из надписей на ящиках. Но напечатанный приказ — вещь удобная тем, что он не рукописный: буквы одинаковые, и слова в нём стоят те же, что во всех приказах на свете.

Я разобрал форму. Наверху — часть и номер. Ниже — дата: семнадцатое октября. Ниже — слово, которое я знал точно, потому что видел его на всех перехваченных бумагах: приказ.

И дальше, в третьей строке сверху, стояло название, написанное латинскими буквами так, как немец слышит русское слово.

Дорохово.

Я стоял с этим листом и смотрел на буквы.

— Товарищ сержант, — сказал я. Голос у меня был совершенно ровный, и мне за него было даже как-то неловко. — Идите сюда. Скорее.

Бортников подошёл. Я держал лист к костру.

— Читаешь?

— Разбираю. Не всё. — Я вёл пальцем по строчкам. — Вот тут — приказ. Дата — семнадцатое. Вот часть, номер. Вот это, — я показал, — я знаю: это «главный удар». Мы это слово в октябре в блиндаже брали, помните, я его тогда у Пантелеева спрашивал.

— Помню.

— А вот это — «переносится». А вот это... — Я замолчал.

— Что?

— Это село, куда переехал наш медсанбат, — сказал я.

Бортников взял у меня лист и стал смотреть на него сам, хотя по-немецки не читал вовсе.

— Здесь дальше даты, — сказал я. — Вот. Семь и восемь. И вот тут — я это слово знаю, оно на всех ящиках, — это «час». А перед ним цифра.

— Гринёв.

— И вот тут — про наш участок. — Я показал в конец абзаца. — Вот это слово мне вчера Пантелеев объяснял, оно у них в дневнике было: «сковывающий». Понимаете? По нам они переходят на сковывающие действия. А главный удар переносят влево. К Дорохову. Девятнадцатого-двадцатого числа.

Стало тихо. Костерок трещал, и в яме что-то оседало внутри мёртвой машины.

— То есть по нам они больше не полезут, — медленно сказал Гнутов. — Это ж хорошо?

— Это хорошо, Митя, — сказал я. — Это очень хорошо для нас с тобой. — Я услышал, как у меня садится голос, и ничего не смог с этим сделать. — Это хорошо для нас, для всех семерых, кто тут остался. А для тех, кто в Дорохове, это плохо. Потому что там сейчас тихо, там окопы отрыты в сентябре по колено, и там стоит сортировочный госпиталь, куда его перевели три дня назад — специально, чтоб он стоял ближе к линии, потому что раненого дальше сорока вёрст не довезёшь.

Я сложил лист.

— Товарищ сержант, — сказал я. — Я могу пойти за ночь. Двенадцать вёрст. Просёлком через овраг и вдоль опушки, я эту дорогу знаю до самого поворота, я по ней в октябре два раза

ходил за жердями. К рассвету я там. Дайте мне записку от себя, и я дойду и отдам эту бумагу тому, кто там старший, лично в руки.

Бортников стоял и смотрел на меня очень долго.

Потом сказал:

— Нет.

Я открыл рот.

— Стой. — Он поднял ладонь. — Ты сейчас скажешь, что так быстрее. Быстрее, да. А теперь послушай, что будет, если я тебя пушу.

— Слушаю.

— Ты придёшь ночью в чужую часть, в чужой батальон, к чужому командиру, один, без документа, кроме моей записки, с немецкой бумагой за пазухой. Первое, что с тобой сделают: положат мордой в грязь. Второе: отберут бумагу. Третье: посадят до утра и станут выяснять, кто ты и откуда, и правильно сделают, потому что ты для них — боец с трофейным приказом, взявшийся из ночи. Пока с тобой выясняют, бумага лежит у дежурного в столе. И это в лучшем случае, Гринёв. А в худшем ты по дороге напорешься на своих же в темноте, и они тебя окликнут, а ты не так ответишь, потому что пароля на том участке не знаешь.

Он говорил ровно, без нажима, и от этой ровности возразить было нечего.

— А если я пушу бумагу как положено, — сказал Бортников, — то она пойдёт так. Я её сейчас отправляю Пантелееву с донесением о бое, и он её ночью же гонит в батальон. В батальоне Северьянов. Северьянов — не дурак и не тыловая крыса, он на это слово — «главный удар» — прыгнет как ужаленный и погонит её в полк с конным, а из полка её потащат в дивизию. И в дивизии сидит человек, у которого есть телефон, карта всего участка и право двигать людей. И вот этот человек за одну минуту сделает больше, чем ты за всю ночь бегом.

Я стоял и молчал.

Потому что он был прав, и потому что я это самое уже слышал сегодня утром — только тогда я это придумал сам, стоя в грязи с бутылками за пазухой, и придумал зло, обиженно, себе в наказание.

А теперь мне это сказали вслух и по-доброму.

— Гринёв. — Бортников подошёл ближе. — Ты позавчера ушёл с рогатки сам, никого не спросив. Я тебе тогда ничего не сказал, потому что ты вернулся и потому что ты был прав по существу. А человек за это лежит с ребром. Ты понял, что я сейчас говорю?

— Понял, — сказал я.

— Что понял?

— Что мою скорость надо считать вместе с ценой, — сказал я. — И что если считать вместе с ценой, то я медленнее.

— Вот, — сказал Бортников.

Он взял у меня лист, сложил ещё раз и сунул за целлулоид в планшетку, поверх моего чертежа.

— И вот ещё что, — сказал он. — Ты пойдёшь со мной к Пантелееву. Сам. И сам ему расскажешь, что тут написано и почему это надо гнать сегодня, а не завтра утром. Слово в слово, как мне. Потому что я по-немецки не читаю, а ты читаешь. Плохо, но читаешь. И потому что Пантелеев, когда услышит это от тебя, поверит быстрее, чем если я ему перескажу.

— Есть, — сказал я.

До землянки Пантелеева мы дошли уже в темноте. Бортников положил трофейный лист на стол и кивнул мне:

— Гринёв разбирай, пусть сам докладывает.

Я показал пальцем дату, затем слова «главный удар», «переносится» и название Дорохова. На третьей фразе Пантелеев перестал переспрашивать, придвинул к себе чистый лист и начал писать, не дослушав.

— Срок? — Пантелеев макнул перо и замер над бумагой.

— Девятнадцатое-двадцатое.

Он позвал Гнутова и клюшинского бойца, велел идти вдвоём и отдать донесение в батальон лично дежурному.

И вот тут — я не сразу заметил — у меня внутри качнулось в другую сторону.

Потому что мне отказали в том, чего я хотел. И одновременно дали то, чего у меня за эти недели не было ни разу: право говорить с ротным самому, своими словами, о том, что важно для целого участка фронта.

Меня не пустили бежать — меня взяли говорить.

Донесение ушло в двадцать один десять.

Понёс его Гнутов с бойцом из клюшинского отделения, потому что одного ночью не посылают. Я стоял на бруствере и смотрел, как они уходят по тропе к перелеску — две тёмные фигуры в серой мороси, — и как их сначала стало видно хуже, потом почти не видно, потом не видно совсем.

Двенадцать вёрст я бы прошёл за четыре часа. Гнутов дойдёт до батальона за сорок минут. Дежурный передаст Северьянову — к полуночи. Конный уйдёт в полк — к часу. Полк передаст в дивизию — к утру.

К утру.

А там — девятнадцатое. А в приказе — девятнадцатое-двадцатое.

Я стоял и считал эти часы, как считал сегодня до тридцати одного, и понимал, что на этот раз я не могу ни ускорить, ни сократить, ни бросить раньше, ни бросить позже. Я вообще ничего не могу. Я своё сделал целиком: поднял с земли планшет, разобрал по буквам, отнёс ротному, рассказал своими словами, и Пантелеев мне поверил на третьей фразе и стал писать, не дослушав.

Всё. Дальше не моё.

Дальше — люди, которых я не знаю, с телефонами, которых я не вижу, и с картами, на которых наша траншея — карандашная чёрточка сбоку.

Ночь была тихая. Сырой холод взял крепче вчерашнего, и на западе — вот удивительное дело — не гудело совсем.

За спиной, в яме, ещё держало тепло от мёртвой машины, и туда, к теплу, потихоньку стянулись двое или трое, и оттуда слышались голоса.

Я стоял на бруствере один, без шапки, потому что шапку я где-то потерял днём, и правое ухо у меня по-прежнему было ватное, и левой брови не было, и я держал в кармане деревянный гребень в тряпице из-под сахара, шестнадцатый зуб тоньше остальных.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.